

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 14. Рать солнценосцев

В начале 1917 года в Петрограде выходит первая книга о Клюеве. Точнее, не столько полновесная книга, сколько статья о нём в отдельном издании – “Обрётённый Китеж” поэта Бориса Богомолова.

Многое в этой статье шло, бесспорно, от самого Клюева. Изнемогший от “понимания” его поэзии “собачьей публикой”, из которой не выветрился “салтычихин и аракчеевский дух”, он в личной беседе подробно изложил молодому поэту основные принципы своего “жизнетворчества”. Проникшийся стихами Николая и беседами с ним, Богомолов дал волю не столько анализу и разбору, сколько своим чувствам и впечатлениям. И получился настоящий величественный гимн русскому поэтическому слову, который и ныне не вредно внимательно перечитать.

“... С запада не так давно к нам хлынул поток гнойной мути порнографии, которую процедили “в лабораториях поэзии” дипломированные мастера словесного искусства и влили в народ. Это ли не позор? Русь органически не могла принять и впитать в себя такое творчество и с негодованием его отвергла, убегая от него, как от заразы. Газеты и журналистика выдвинули марионетствующих болтунов, наделив их золотом. Талантливые поэты продавали великий дух и благородную мысль и пели, надрываясь, о сладости экзотики, пока, обессилев, не уходили в кабаки, чтобы – приняв наркоз – снова кричать “о фиолетовых ногах на эмалевой стене”.

В таком бутафорском венце уходит в забвение истории кафешантанная цыганка современной “русской” поэзии, под свистопляску неврастеничных алкоголиков и наркотиков, подбадриваемых улюлюкающими репортёрами и шамкающими муслявыми старикашками...

Жизнь и её миражная красота в мироздании поэтов современья уже всем известна: наркоз им в несколько часов создавал такие картины, такие образы, такую музыку, что многим казалось даже странным называть такое творчество нормальным. Логика ясно подсказывает, что если ширь и сила творческого взмаха прорывает оболочку нормы, расширяя крепкие и грани изжитых миром форм, значит, творчество таковое есть ничто иное, как явление гения... Гипноз минутного очарования, к счастью, у многих быстро рассеялся, ибо сама жизнь в скором времени разрушила все их розовые иллюзии, повергавшие их в припадки истерии и увлекавшие к пропасти безумия...”

Что говорить – впечатляющая картина. Будто и ста лет не прошло с тех пор, как вышли эти строки из-под пера впечатлительного стихотворца, не пощадившего и самого Блока:

“Талантливейший, претендующий на лавры универсальности, русский поэт с громким именем, которым была открыта и замкнута целая эпоха русской лирики, и тот не устоял перед хмелящими чарами знойной похоти, воспевая в буйных песнях разнузданный утончённый разврат”.

Этот разврат живёт в той среде, которую Клюев описал ещё до войны в статье (скорее, стихотворении в прозе) “Пленники города”.

“Они... стоят, молодые, с нафабранными усами или безусые вовсе, пожилые, с сивой щетиной на подбородке, с опалёнными уличным зноем ржаво-красными шеями и щеками. Полдень. Мутно жёлто-горячее небо, воздух сух и угарен, пахнет человеческим потом и ещё чем-то, от чего слегка кружится голова и во рту становится тошно... Неслышны и мертвы пепельно-серые деревья бульвара. Сквозь подошвы сапог чувствуется, как горяча мостовая, деревянный стук пролёток, острый, напоминающий звон кандалов, лягз трамвая, сверкающие глянецом и позолотой экипажи и в них что-то... мёртвое...”

Они стоят. Я ничего в мире не видел ужаснее их стойки! Всем чужие, бесконечно одинокие, они целые годы стоят на углах улицы, таскают куда-то смрадных, опухших пьяниц, вытягиваются “господам”...

Пленники города – вечное напоминание людям о Великой Несправедливости, о духе “Зверя из бездны”, о печати антихриста, несмылаемо чернеющей на каждой тумбе, на каждой вывеске, неистребимо живущей в шумах толпы, медных вздохах уличного оркестра. Они стоят – Сыны Ужаса, холодного, чёрного Отчаяния...”

И мнится – Богомоллов пишет о ней буквально языком старого клюевско-го сочинения.

“Гигантские каменные чудовища – чрева алчных городов, где железным лягом оглушена и задавлена великомученица-любовь, где на смертный стон и величайшие страдания никто не обращает никакого внимания, – осатанелые улицы нагло хохочут над поруганной святыней народной красоты – над национальной великой душой. Она очами молний узрела всю потрясающую ложь современной культуры. Увидела, кто такие, которые развращают Русь...”

Воплощением же “пробуждения русского национального самосознания” и “подъёма духовных сил Руси” Богомоллову видится один-единственный на фоне мрачной и удручающей картины современной литературной жизни – Клюев.

“Путь Руси – путь Христа сквозь эпохи тысячелетий... Будда, Магомет, Конфуций – всё это мистические воплощения мировой мученицы – мысли. Тяготение к Солнцу жизни видится – сквозь призмы истории – в душе всех племён и народов. Тоска людей по идеалам, увенчанным любовью, изваялась в многоликие музыкальные апофеозы слова, осиянные ореолом народного поклонения и волхвующие над ними своими сказаниями, исполненными загадки и трепета...”

И внезапно, словно титанический вздох земли, выбросившей раскалённую лаву из своих недр, из глубины Руси, хлынул и бьёт неудержимый вулкан творчества Николая Клюева. Творчество его поистине стихийно. Он – песнослов народной красоты. Сказитель русской души, возрождающий избяную великую Русь – в глазах изумлённых современников – своим художественным сказом, сохранившим в своих родниках подлинный народный дух, его волю и чаяния, его творческую самобытную силу и преемственную мощь великих кудесников русского слова... Русь с её верованиями, сказаниями, легендами и наговорами безгранично прекрасна. Грубость её – не врождённая грубость; она – плод той лживой человеческой культуры, которая сдавила душу народа в своих ржавых объятиях, пытаясь её обессилить и обезличить... И ныне Руси пришло время серьёзно задуматься над тем, как сохранить свой обаятельно-прекрасный лик, отражённый в народном творчестве...

В буйном огневороте гибнут целые народы с их бесмертными памятниками литературы и искусства. В этот пророческий час страстотерпица Русь из вековой глубины северных лесов после долгого молчания услышала свой подлинный родной русский сказ, что стародавний сладостный гусельный перезвон... Николай Клюев – единственный в созвездии современной поэзии, кто сумел сохранить свой изумительный творческий дар нетронутым растлевающим Западом.

В его песнях и сказах во всей несказанной красе и величии восстают и вздымают свои золотые наглавия, словно из подводного невидимого града

Китежа, вековые стародавние русские святыни. Зовут истосковавшуюся по солнцу душу в свою благодатную сень – к подвигу созерцания красоты и величия народного гения. . . Николай Клюев – предтеча возрождения Руси. . . По силе величия и мощи выявления русского поэтического духа – Клюев недосягаем. Он потряс нашу литературу, приковав к себе поражённое внимание всех выдающихся своих современников. . .

Русская земля подарила нам своего поэта-сказителя Николая Клюева. Из живоносных непомерных глубей его творчества она, духовно взалкавшая, ныне утолит свою национальную жажду. . .”

Кажется, что иные фрагменты этого сочинения если и не написаны под диктовку Клюева – то взяты с его губ, без особенной литературной и даже синтаксической обработки. . . Те, что касаются города, интеллигентской поэзии и Руси – “осиротелой вдовицы”. Все же восторженные слова о самом поэте – богомолвские – выдержаны в заданном Клюевым ключе. . . Только сам поэт знал – насколько этот “прижизненный памятник” отличается от настоящего Клюева, такого, каким он был на рубеже 1916–1917 годов.

Уже с началом войны в его поэзию стали властно вторгаться ноты, исходящие из адских глубин. Дьявольские видения посещали ещё не часто, но таили в себе страшный соблазн.

*Неугасимое пламя,
Неусыпающий червь...
В адском, погибельном храме
Вьётся из грешников вервь.*

*В совокупленьи геенском
Корчится с отроком бес...
Гласом рыдающе женским
Кличет обугленный лес:*

*“Милый, приди. О, приди же...”
И, словно пасечный мёд,
Пёс огнедышащий лижет
Семени жгучий налёт.*

*Страсть многохоботным удом
Множит пылающих чад,
Мужа зовут Изумрудом,
Женщину — Чёрный Агат.*

*Слав Изумруда с Агатом —
Я не в аду, не в раю, —
Жду солнцеликого брата
Вызволить душу мою...*

Адская похоть, окружающая поэта и разъедающая его изнутри, – угроза всему Божескому и человеческому, что готова поглотить волна дьявольского сладострастия. . . Пытка – физическая и душевная – переходит ту грань, когда начинает становиться наслаждением, и, в ужасе от этого наслаждения, взывает к Господу испытуемый.

Взывает. . . В поисках услады духовной, дабы бесплотный поцелуй заглушил физиологическое томление, бушующее по зову беса.

Бесплотный. . . Но принимаемый, как земная ласка.

*“Милый, явись, я — супруга,
Ты же — сладчайший жених.
С Севера — с ясного ль Юга
Ждать поцелуев Твоих?”*

*Чрево мне выжгла геенна,
Бесы гнездятся в костях.*

*Птицей — волной белопенной
Рею я в диких стихах.*

*Гибнут под бурей крылатой
Ад и страстей корабли...
Выведи, Боже распятый,
Из преисподней земли”.*

Это стихотворение войдёт в цикл “Спас”, созданный в 1916–1917 годах, где хлыстовские мотивы в последний раз со всеокрушающей силой завладеют поэтом — и его Спас будет говорить, как говорил некогда “старец с Афона”, увещавший Николая, что тому “нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть”. Старец, который надел на Николая “образок из чёрного агата” (“Мужа зовут Изумрудом, женщину — Чёрный Агат...”) с надписью “Серис биди Шамаим”... И уже “облекавшийся во Христа” Николай, словно вслушиваясь в прежние влекущие слова, пишет своего — “вселенского Спаса”, вмещающего в себя невмещаемое.

*У мужицкого Спаса
Крылья в ярых крестцах,
В пуне перьев запасы,
Чтоб парить в небесах.*

*Он есть Альфа, Омега,
Шамаим и Серис,
Где с Ефратом Онега
Поцелуйно слились.*

*В нём Коран и Миня,
Вавилон и Саров
Пляшут пляскою змея
Под цевницу веков.*

Если “в начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог” — то Слово обладает даром рождения “новой земли и нового неба”. “Женщина — Чёрный Агат” — сопрягается с Богородицею, как “Матерью-Супругой” Иисуса Христа. И Клюев, ощутивший в себе “женское” начало, как дар родительства — рождает своего мужицкого Спаса: “Я родил Еммануила — Загумённого Христа”, который

*...за сошенькой-горбушей
Потом праведным потел,
Бабы, дедовские души
Возносил от бранных тел.*

*С белопахой коровёнкой
Разговор потайный вёл,
Что над русскою сторонкой
Судный ставится престол,*

*Что за мать, пред звёздной книгой,
На слезинках творена.
Черносошная коврига
В оправданье подана.*

“Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рождшую... Тя величаем...” Он меняет ипостаси на протяжении всех восьми стихотворений цикла... Сначала неодошевлённое растение — лён — одушевляющееся на глазах по мере превращения в “порты” для “плоти громной, Господней...” Далее — Мать-Богородица в мужском обличе грешного Николая, рожаящая “Сына Еммануила, Бога же и человека...” Далее —

Сам Христос, родившийся “в овчьем тёплом хлеву” и покинувший осиротелую избу, когда “дьявол злой тонконогий объявился в лесах...”

*Лес, как призрак, заплывал,
Умер агничий закат,
И увёл меня дьявол
В смрадный, каменный ад.*

*Там газеты-блудницы,
Души книг, души струн...
Где ты, гость светлицы,
Крестный мой — Гамаюн?*

*Взвыли грешные тени:
Он бумажный, он наш...
Но прозрел я ступени
В Божий певчий шалаш.*

А далее — “в дни по вознесении Христа” — покинутые христы его голосом возносят свою молитву вознесшемуся Иисусу.

*Мы тебе лишь алчем вознести
Жар очей, сосцов и губ купинных.
В ландышевых горницах пустынных
Хоть кровинку б — цветик обрести.*

*Обойти все горницы России
С Соловков на дремлющий Памир
И познать, что оспенный трактир
Для Христов усладнее Софии.*

Эта природная нежность ко Христу обретает далее, кажется, тональность физиологическую, когда соитие, зачатие и рождение Бога-Слова обретает характер телесный, плотной — а на самом деле перед нами небесный брак, когда земной пол утрачивает всякое своё значение, всё преобразуется, как преобразуется тело и кровь Христа при причастии... Земной словарь отсылает к земле, а прозрение грядущих новых родов Христа — к небу. И обе ипостаси Богоматери и Иисуса — земная и небесная — соединяются в единое целое.

*Я солнечно брадат, розовоух и нежен,
Моя ладонь — тимпан, сосцы сладимей сот,
Будь в ласках, как жена, в лобзании безбрежен,
Раздвини ложесна, войди в меня, как плод.*

*Я вновь Тебя зачну, и муки роженицы,
Грызть жил, следа жар, стена, перетерплю...
Как сердцевину червь и как телок веприцы,
Тебя, Моё Дитя, Супруг и Бог — люблю.*

Не мог Николай не понимать — сколь рискованны такие откровения для читательского восприятия. Ни по частям, ни в целом виде цикл “Спас” не был отдан тогда в печать и появился лишь во втором томе “Песнословия”, изданном уже в 1919 году, в новую эпоху.

Не мог он не понимать и того, сколь тонка грань, отделяющая в его стихах любовь божественную и любовь земную, переходящую в откровенную ересь. Возвышенное, небесное снова сменяется адским, греховным — и, наконец, воплощается в таком соединении с Господом, когда не только дух, но и тело обретает сладость воплощения в Боге, а восторг от вложения перстов в раны Христа — чрез вожделение — преобразует всё существо человеческое и мир сущий.

*Войти в Твои раны — в живую купель,
И там убелиться, как вербный апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить.
Распяться на древе — с Тобою, в Тебе,
И жил тростники уподобить трубе,
Взыграть на суставах: Или-Элои —
И семенем брызнуть в утробу Земли...*

.....
*Уплыть в Твои раны, как в омут речной,
Насытиться тайною, глубию живой,
Достать жемчугов, золотого песка,
Стать торжником светлым, чья щедра рука.*

Эта ликующая мольба сопровождается страшным признанием: “Мой стих — зазыватель в Христовы ряды — охрип под туманами зла и беды...”

Зло и беда, мнится, идут с ненавистного Запада — “Змеи и Блудницы”, — но ум и душа самого Клюева изнемогают под гнётом дьявольских видений, где “полуденный бес, как тюлень, на отмели греет оплечья”, где “к юду в фартуке кровавом не раз подходит смерть-мясник...” Физиологическая образность буквально перенасыщает клюевский стих, и кажется, разверзлось чрево ада — клокочущее бесовское нашествие готово поглотить Божий мир... Грешные “тени-слепцы”, навестившие поэта, готовы тихо повести его душу “дорогою длинной”, а земля приготовилась к вселенскому катаклизму...

*Услышат Чикаго с Калугой
Предвечный полёт гарпуна,
И в судоргах, воя белугой,
Померкнет на тверди луна.*

*Мережи с лесой осетровой
Протянут над бездной ловцы, —
На потрохи звёздного лова
Сбежатся кометы-песцы.*

*Пожрут огневую вязигу,
Пуп солнечный, млечный гусак.
Творец в Голубиную книгу
Запишет: бысть воды и мрак.*

Всё возвращается на круги своя — и земля обречена вернуться в то состояние, что описано в начальных строках Книги Бытия: “Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною: и Дух Божий носился над водою...” Иного исхода не может быть, если “в куньем раю громыкает Чикаго и сиринам в гнёзда Париж заглянул”, если “драконовой лапой Европа сплетает железную сеть”... И перед вселенским концом поэт акцентирует мотив “безмужного зачатья”, рода, порождения... “Родить бы предвечного, вещею, струнного, и сыну отдать ложесна и сосцы...” “И понял я: зачну в чреве и близнецов на свет рожу: любовь отдам скопца ножу, бессмертье ж излучу в напеве...” Плодом должно стать “Микулово бездное слово”, а для самого поэта уже сама русская природа — воплощение женского ложесна, готового принять в себя семя родителя: “Не я ли — отец, и не женским ли сальником стал лес-роженица и туча вдали...” Такой плотской образности не знала отечественная поэзия последних трёх столетий. И совершенно иная картина открывается глазу после вселенской “брачной ночи”, за которой следует рождение “новой земли”.

*Прослезится волчица над костью овечьей,
Зарыдает огонь, что кусался и жёг,
Станет бурей душа, и зрачок человекий
Вознесётся, как солнце, в небесный чертог.*

*И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров,
Лавой семя вскипит, изначальным хотеньем
Дастся солнцу — купель, долу — племя богов.*

*Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнётся Супругу крестильной зарёй...
О пиры моих уд, мрак мужицкого сна, —
Над могилой судеб бурных ангелов рой!*

Со страхом в душе думаешь, что речь здесь идёт о Втором Пришествии, и что Супруг — сам Христос, но “пиры моих уд” неумолимо свидетельствуют о том, что сам поэт, отождествивший себя с Христом, оплодотворяет землю, ради её спасения... О своём личном спасении, похоже, не думая.

* * *

За несколько недель до Февральского переворота Клюев знакомится на квартире Иванова-Разумника с Андреем Белым, который с влечением и жадностью слушает его рассказы о хлыстах и сектантах Русского Севера... А 12 февраля уже сам Николай вместе с Есениным слушает доклад Андрея Белого “Александрийский период и мы в освещении проблемы “Восток и Запад” на заседании Религиозно-философского общества в Демидовом переулке и там же по приглашению Белого читает свой “Новый (ещё не “Поддонный”) псалом”.

Как отметил в своём дневнике С. Каблуков, Андрей Белый “кончил... приглашением, обращённым к молодому сочинителю стихов Клюеву, прочесть стихотворение “Новый Псалом”, которое можно считать как бы эпиграфом к его докладу. Клюев просить себя не заставил, и целых 15 минут с кафедры Рел/игиозно/-Ф/илософского/ Об/щест/ва раздавались рифмованные вопли явно хлыстовского кликушествования. Впоследствии выяснилось, что Клюев и в самом деле чистейший хлыст, считающий себя Христом, имеющий своих верных и даже своего “архангела Михаила”.

А Клюев читал:

*О родина моя земная, Русь буреприимная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной,
Как гора необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрова моря!..*

.....
*Тебе только тридцать три года —
Возраст Христов лебединый,
Возраст чайки озёрной,
Век берёзы, полной ярого, сладкого сока!..*

Показательна реакция на поэму уже знакомой нам Зинаиды Гиппиус, записавшей в дневник то, что практически совпало по смыслу с записью Каблукова:

“Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский “псалом” Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавший даже в кабаре “Бродячей Собаки” (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно вверзившийся в “пейзализм”. Жирная, лоснящаяся физиономия. Округлый, трубкой. Хлыст. За ним ходит “архангел” в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!”

“Архангел” в валенках” же, естественно, Есенин. Ни в каких “валенках” он, конечно, не появлялся в Религиозно-философском обществе, но змея-Гиппиус и здесь не преминула ужалить — по аналогии с пресловутыми “гетрами” 1915 года.

Клюев насквозь видел публику, слушавшую его стихи: "... всё сволочь кругом", — как он писал в письме к Ширяевцу. Любопытные воспоминания оставил о Николае Рюрик Ивнев, который познакомился с ним ещё до войны. Вспоминал Ивнев, как после чтения стихов в салоне Шварцц на Знаменской Клюев вышел вместе с ним, остановился у набережной Фонтанки и тихо произнёс как бы про себя:

— Пустые люди.

— Про кого это вы, Николай Алексеевич? — спросил Рюрик.

— Про всех... Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во что не верят. Всех бы их собрать да и в эту чёрную воду.

— Ну а дальше что?

Николай не ответил. После долгой паузы произнёс жёстким голосом:

— Интеллигенция не лучше их.

Ивнев задал, как ему казалось, естественный вопрос:

— Тогда зачем вы водитесь с нами?

Реакция Клюева поразила его.

"Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При свете фонаря они показались мне до того страшными, что холодок прошёл по коже. Он, наверное, заметил это, потому что взял мою руку и крепко сжал её.

— Вас я не трону. Вы не из этой чёрной стаи.

Я улыбнулся:

— Можно подумать, что вы...

— Верховный правитель? — закончил он за меня.

— Вроде этого, — ответил я.

— Душно здесь, всё пропитано сыростью, — произнёс он загадочно. — Вот в Олонецкой у нас легко дышать.

Я хотел спросить у него, почему же он не живёт в Олонецкой губернии, а крутится здесь, в этой "душной сырости", но он, как бы разгадав мои мысли, сказал:

— Если бы я остался там, то кто же был бы здесь".

Потом — опять молчание... Несколько слов о Есенине, о том, что "слаб духом" отрок вербный, что "спасать его надо", а похвалы Блока и Городецкого "тяжелее плит каменных"... И, наконец, после долгой паузы:

— Всё надо начинать сначала.

Доверять мемуарам Ивнева можно с большой поправкой. Но настроение Клюева того времени он передал точно. Более того, "восстанавливая по памяти" спустя много лет тексты писем Есенина к нему, точнее, заново их сочиняя, видимо, на основе запомнившихся бесед, Рюрик в одном из "писем" привёл "слова" Есенина о том, что Клюев мнит себя новым Распутиным. Точнее, приписал Есенину собственное, выношенное им (и не им одним) мнение о Николае... А в марте 1917 года состоялась их новая встреча, когда "всё началось сначала" — и это "начало" породило вихрь восторга в душах "крестьянской купницы".

Ивнев вспоминал, как встретил на Невском Клюева, Есенина и Клычкова (приписал он туда же и Петра Орешина, с которым "собратья" и знакомы-то ещё не были). "Они шли, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то странном возбуждении, размахивая руками, похожие на деревенских парней, возвращающихся с гулянки. Сначала я подумал, что они пьяны. Но после первых же произнесённых слов убедился в их полной трезвости. Очевидно, их возбуждение носило иной характер". Особенно запомнилось Рюрику "шипение" "елейного", как он выразился, Клюева:

— Наше времечко пришло!

Есенин лукаво щурился, говорил колкости, а сам незаметно жал Рюрику ладонь.

Спустя несколько дней на одном из митингов Ивнев вновь столкнулся лицом к лицу с Клюевым. И тот заговорил уже по-другому, без агрессии.

— Кто старое помянет, тому глаз вон... Ошалели мы тогда. Шутка ли сказать!.. Владыки мира полетели вверх тормашками. Помните салон Шварццихи? Митрополиты, кареты, машины — всё к чёртовой матери сгнуло! Эти старые дуры, которые увивались около меня, чтобы послушать мои былины, думали купить меня своими ласковыми словами, а я в душе смеялся над ними. Мне они нужны были, чтобы проникнуть к той, которая всё решала сама и заставляла муженька плясать под свою дудку. Я хотел её руками задушить все дво-

рянские шеи. Но дело обошлось и без меня. Как же было мне не опьянеть от радости, хотя я уже давно чувствовал, что придётся начинать всё сначала.

Сомнительно, конечно, упоминание Клюевым “чёртовой матери”, а также циничная интонация, в которую облечены слова об императрице... Но мысль, тайная цель переданы, пожалуй, верно. Пройдёт более 10 лет, и о “муженке” Клюев найдёт совсем другие слова в “Песни о великой матери”, когда станет прозревать своим “нерпячим глазом” всю глубину свершившегося катаклизма:

*И увидал я государя.
Он тихо шёл окрай пруда.
Казалось, чёрная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он всё же выглядел царём.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковёр, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирини, ракиты,—
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя...*

А тогда — крушение дома Романовых виделось как свершение вековой народной мечты, избавление народа от “голштинской” власти. Воля, волюшка-мать настала!..

— Вы, конечно, читали “Петербург” Андрея Белого? — спрашивал Клюев Ивнева. — Никто не понял души Петербурга так, как понял он. Только в Петербурге могло произойти всё это. Как подгнивший дуб, рухнула Империя. Подсчитать невозможно с точностью, сколько тысяч станций у нас в России. И надо же было, чтобы царь отрёкся от престола именно на станции Дно. Отрёкся на Дне и оказался на дне. Мне скажут, что это — случайность? Бедные мы все кроты. В темноте живём и света не видим.

Клюев не видел в происходящем никаких случайных совпадений. На самом деле отречение Николая произошло в Пскове 2 марта после того, как царский поезд, шедший к охваченному волнениями Петрограду, не был пропущен железнодорожными рабочими станции Дно. 1 марта был издан приказ № 1, призывавший солдат действующей армии избирать в частях комитеты солдатских депутатов, приказ, совершенно разложивший армию. А в ночь на 2 марта было образовано Временное правительство, председателем которого стал князь Львов... В 23 часа 40 минут Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила.

“Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг, — записывал в дневнике бывший император. — Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман”.

На следующий день отрёкся от власти Михаил Романов. С империей было покончено. Ни о каком “спокойствии”, ни о каком “удержании армии на фронте” речи по сути быть не могло.

Амнистия почти 90 000 человек, из которых абсолютное большинство было уголовными преступниками. Так называемые “птенцы Керенского” развязали на городских улицах настоящий террор мирного населения. А само население ликовало на митингах. На митингах, некоронованным королём которых был глава Временного комитета Государственной думы Михаил Родзянко.

“... Там, в бывшей Государственной Думе, всё и происходило, “решалась судьба России”, — вспоминал Алексей Ремизов. — ... К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привёл, и об этом было много разговору. С войны приезжали солдаты, привозили день-

ги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя Родзянку. Родзянко был у всех на устах”.

Реакция Клюева на этого нового “вождя” была совершенно недвусмысленной. Услышав крик: “Да здравствует Родзянко!” — он повернулся к нему спиной.

— Пойдёмте отсюда. Точно слушать. Нашли кого прославлять. Этого сукина сына я б задушил своими руками, дворянское отродье! Камергер! Царский лакей, возжелавший сесть на престол своего барина! Он так же будет душить крестьян, как душил его барин...

И, помолчав, добавил:

— Тяжела шапка Мономаха, но ещё тяжелее упустить эту шапку.

Государство шло вразнос. Уже упразднён Департамент полиции, в Петрограде идёт политическая забастовка. Временное правительство восстанавливает автономию Финляндии, признаёт право Польши на отделение — недалеко до провозглашения “самостийной Украины” и “автономии Шлиссельбургского уезда”... Синод радостно приветствует торжество “всеобщей свободы России”, а временным государственным гимном становится “Марсельеза”.

А Клюев пишет свою “Марсельезу” — крестьянскую, что позже станет “Красной песней”.

*Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!*

*Сбылись думы и давние слухи,
Пробудился Народ-Святогор —
Будет мёд на домашней краюхе
И на скатерти яркое узор.*

.....
*Ставьте ж свечи Мужичькому Спасу!
Знание — брат, и наука — сестра.
Лик пшеничный с бородой солнцевласой —
Воплощенье любви и добра!*

*Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай возделенный, родной.*

Вот за что он испытывал тюремные муки, вот чего он чаял много лет — с того дня, как взял в руки перо... Пришествия мужицкого Спаса, явления Китеж-града, возрождения древней благочестивой Руси... Воскрешения того,

*Чей крестный пот и серый кус
Лучистой купины.
Он — воскрешённый Иисус,
Народ родной страны.*

.....
*То кровью выкупленный край,
Земли и Воли град,
Многopleменный каравай
Поделят с братом брат.*

*Литва с кряжистым пермяком,
С карелою — туркмен
Не сломят штык, чугунный гром
Ржаного града стен.*

Не может не обратить на себя внимание написание имени Господа — “Иисус”. Презрев староверческий канон, Клюев соединяет в единое целое “наро-

ды-Христы” и староверие с нововерием, Китеж-град — сакральный символ староверчества — и “ладан Саровских сосен”, место святого Серафима, которого истинные староверы отказывались считать святым, а, скорее, воспринимали, как колдуна... Для Клюева в час воли все противоречия и нестроения стираются — и вселенскому физическому и духовному единству слагает он свой величественный гимн — “Песнь Солнценосца”, в котором даже демоны, лишённые своей демонической силы, становятся братьями в ликующем хороводе.

*То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бечеву свил архангелов лик.*

*На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы.*

*В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.*

*О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!*

*Мы — рать солнценосцев на пупе земном —
Воздвигнем стобашенный пламенный дом:*

*Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,*

*Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать.
Им Бог — восприемник, Россия же — мать.*

Прежний сумрак разрезают палящие солнечные лучи, солнце охватывает всю вселенную, сжигает старый мир и порождает новый, а “стобашенный пламенный дом”, кажется, напоминает новую Вавилонскую башню — и это невольное сходство проходит мимо сознания поэта. Более того, в этой “Песни” совмещаются несовместимые символы:

*Верстак — Назарет, наковальня — Немрод,
Их слил в песнозвучье единый народ.*

Родина Иисуса Христа — и имя идолопоклонника, основателя Вавилона, имя, сакральное в масонских ложах, и это у Клюева соединяется в одном “песнозвучье”... Он творит с волю революцию, имеющую слишком мало общего с той, что творится на городских улицах и в русских селеньях.

* * *

Совершенно иное увидел в свершающейся “мистерии” Сергей Есенин. В мае в эсеровской газете “Дело народа” появляется его поэма “Товарищ”, написанная по горячим следам Февраля. “Товарищ Иисус” (у Есенина староверческое написание имени чередуется с нововерческим) сходит с иконы — “стоять за волю, за равенство и труд” в “чёрной ночи” — и падает, “сражённый пулей”... Слова поэта безжалостны и неумолимы: “Больше нет воскресенья!” И все звуки заглушает одно “железное слово: “Рре-эс-пуу-блика!”, напоминающее своим звучанием воронье карканье.

Чрезвычайный интерес вызывает восприятие свершившегося у Михаила Пришвина, для которого Февраль стал своего рода свидетельством того, что наконец “Бога узнают, а то ведь Бога забыли. Из Невидимого Града”. И вот что он пишет в своём дневнике:

“Всё больше и больше с каждым днём вырастает фигура Петра Великого, как нашего революционера (Петроград, освободивший Россию), и всё выпуклее вспоминается смутный страх мой во время заседания Совета рабочих депутатов в Морском корпусе, что рабочие свергнут статую царя-революционе-

ра. Страх этот был ни на чём не основан и был порождён моим особенным “декадентским” состоянием души. Но он был... Я вошёл в огромную залу и видел, море голов сидят, я сел с ними и прислушался, о чём говорят: пулемёт, молитва, правда”.

Для Клюева всё происходящее было наполнено как раз антипетровским, антиромановским смыслом. Но “пулемёт, молитва и правда” соединялись в его стихах революционной поры в какой-то противоестественной, на обычный взгляд, гармонии. Позже он напишет антиромановские стихи, где воздаст хвалу “пулемёту, несытому кровью битюжьей породы, батистовых туш”, а одно из стихотворений семнадцатого года так и назовётся – “Пулемёт”.

*Пулемёт... Окончание — мёд...
Видно, сладостен он для охочих
Пробуравить свинцом народ —
Непомерные звёздные очи.*

И если “чашу с кровью — всемирным причастьем нам испить до конца суждено”, — то настанет день, когда “под Лучом заскулит пулемёт, сбросит когти и кожу стальную...” А пока — он ответит “Товарищу” Есенина своим “Товарищем”.

*Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.*

До Коммуны ещё дожить надо... Февраль — лишь прелюдия. Прелюдия той красочной симфонии, что должна найти своё земное воплощение, и которую слагает Клюев с упованием на будущее:

*Уму — республика, а сердцу — Мать-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном...
.....
Железный небоскрёб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба?!
Твои сыны-волхвы — багрянородный труд.
Вертепу Господа или Ироду несут?
Пригрезятся ли им за яростным горном
Сад белый, восковой и златобрёвный дом, —
Берестяной придел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льёт миро и елей?..*

Показательно, как воспринял Февраль один из самых молодых поэтов “крестьянской купницы” Алексей Ганин. Уроженец деревни Коншино Вологодской губернии, начавший печататься в вологодских газетах в 1913 году, он воссоздавал в своей поэзии крестьянскую жизнь, как порождение идеальной духовной жизни мироздания. Тончайший лирик, называвший себя “романтиком начала XX века”, он умел воплощать не слышное грубому уху и не видное незрячему глазу движение природного мира, преображающего всё сущее: “И будто жизни нет, — но трепет жизни всюду. Распался круг времён, и сны времён сбывлись. Рождается Рассвет, — и близко, близко чудо: как лист — падёт звезда, и солнцем встанет лист...” Клюев благоденно, в числе других друзей, упоминал о нём в письме к Ширяевцу: “Мы в Петрограде читали и пели твои стихи братски — четыре поэта-крестьянина: Серёженька, Пимен Карпов, Алёша Ганин и я. Нам всем понемножку нравится в тебе воля и Волга — что-то лихое и прекрасное в тебе...” Ганин в эти дни был неразлучен с Есениным — вместе засиживались в Обществе распространения эсеровской литературы, читали и обсуждали шаповскую “Историю раскольнического движения”, на которую их навёл, очевидно, Клюев. Вместе бродили по Петрограду с новыми знакомыми — Миной Свирской и Зинаидой Райх, за которой Алексей

ухаживал. В конце концов отправились вместе на Соловки — и во время сего путешествия Ганин в качестве шафера присутствует на венчании Сергея и Зинаиды в церкви Кирика и Иулиты Вологодского уезда.

Но то, что писал в эти дни Ганин, сущностно разнилось с тем, что выходило из-под пера его друзей. В происходящем он видел приношение даже не Ироду, а самому дьяволу.

Это спустя много лет будут исследователи ломать копыя вокруг “масонской темы”, связанной с Февралём. Это спустя много лет уцелевшие масоны будут вспоминать — из кого состояло Временное правительство и кто на самом деле был движущей силой Февраля. Это позже будет основательно проясняться физиономия фонтанирующего Керенского, кажется, тонувшего тогда в бесконечном словоизвержении... Для Ганина всё творившееся на его глазах было чернее адской ночи и очевидно до боли.

Об этом он и писал свою страшную поэму “Сарай” с многозначительным посвящением: “Посвящаю живым — сущим в часе со мной за воротами “Завтра” в ладонях Времени”.

*Лежу у храма на плите,
Жду с неба светлого хранителя,
Вот придет в зорней красоте,
Раскроет дверь — и в песнь обители
Уйду, погрязший в суете.*

.....
*И вот пришёл, но света нет,
А крылья — чёрной ночи сумрачней...
Не он. И был суров привет:
Вставай, во гробе ли разумничать?
И встал я. Вижу — храма нет.*

*Во тьму земной упёрся Край.
Хочу к звезде взмахнуть ресницами
И не могу.
“Дорога в рай”, —
Твердит. А путь кишит мокрицами
И впереди — глухой Сарай.*

“Тёмный проводник Земли” доводит обманутых до Сарая и стучится в дверь, окликаая привратника слишком хорошо узнаваемыми в масонской среде словами. “Стучит: Откройте, гость пришёл, откройте мастеру-строителю...” Дверь открывается. И пришедшие попадают в настоящую преисподнюю.

*Я рад?.. Чему?.. В сарае пир.
Гремит нестройно чья-то музыка.
На трупах золотой кумир.
Кругом танцуют знать и блузники.
Нет окон... в щелях горний мир.*

.....
*И слышу, говорит кумир:
“К победному столу, кто званые”.
Все званые. Сарай — весь мир.
Идут тела, гниеньем рваные,
Отпраздновать последний пир.*

*Садятся за столы цари.
Их головы на блюдо сложены.
За милость от рабов дары...
И все, с отрубленными рожами,
Пришли, кто украшал дворы.*
.....
*Все пьют. А женщины волной
В глаза мужчин ныряют голыми.*

*Всё слепнет. Пьяно. Злее злой.
И мысли, как бумага в полуме,
Чернеют и летят золой.*

*Как полночь, закоптел Сарай,
В кумире дьявол обнаружился...
Под маской вместо глаз дыра,
Стальные челюсти напряжились,
Чтоб званных и незванных жрать.*

Когда спустя два десятка лет Михаил Булгаков будет работать над “Мастером и Маргаритой” – он вспомнит эту поэму, несомненно, читанную им, при описании великого бала у сатаны, и даст свой вариант пиршества и кровавого посвящения – романтизированный и приукрашенный, как некую веху, необходимую на пути спасения своих героев.

* * *

В начале 1917 года Есенин написал своё, пожалуй, ключевое стихотворение этого периода, многое объясняющее в его дальнейшем конфликте с Клюевым.

*Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...*

*Скучно слушать под небесным дровом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!*

*Привязало, осаднило слово
Даль твоих времён.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжёлых
Прозвенит твой сон.*

Поэты, практически не расставаясь в те весенние дни, читали друг другу всё только что написанное. И Клюев, услышав стих о неразбуженных дедовских могилах – не мог не понять: его любимый Сергунька отходит в сторону от ключевых мотивов Николая, которые, мнил Клюев, должны стать общими мотивами. Это духовная ревизия всего его наследия – от “Избяных песен” до “Подонного псалма”. А сомнение, связанное с “томами тяжёлыми”, он попытался развеять в ответном послании своему собрату.

*Построчный пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры.*

*Не для тебя, мой василёк,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий Восток
Тебе открыл земные вещи.*

.....
*И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья;
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.
Он возгремит, как Божья рать,*

*Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.*

Здесь очевидна отсылка к ранней поэме Есенина “Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о чёрном идолице и Спасе нашем Иисусе Христе” и то, что Клюев отождествляет Есенина с героем его творения. Но главное то, что ни “смола терцин”, ни “устава клещи” – ни старая, ни новая поэтическая форма, как нечто застывшее, книжное – не для Есенина, по слову старшего собрата. И Есенин, уже отталкиваясь от клюевской мысли, пишет весной или летом 1917 года восторженное стихотворение “О Русь, взмахни крылами...”, где выстраивает свою хронологическую поэтическую родословную – от Алексея Кольцова через Николая Клюева. Клюев здесь – “смиранный Миколай”, “весь в резьбе молвы”, тогда как Есенин – совершенно иной.

*А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.*

Мало того, что разбойный. “Но даже с тайной Бога веду я тайно спор...” Спор с “тайной Бога” чреват последствиями необратимыми. Для Клюева самым тяжёлым было услышать в эти дни всеобщего ликования от Есенина: “Не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа... Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста. Навсегда простёр глухие длани звёздный твой Пилат...” А ежили и предстоит сошествие с креста и “новое восславят рождество поля, и как пёс пролает за горой заря”, то встреча Воскресшего будет совсем не той, какую чает “смиранный Миколай”.

*Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.*

*Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щёк заката
Спрыгнут скулы-дни.*

*Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.*

Нет, не зря у Клюева вырывались строки в стихотворении, посвящённом Есенину: “Ты отдалился от меня, за ковыли, глухие лужи...” Внешне это отдаление пока что не означалось со всей очевидностью. Поэты ещё ощущают себя друзьями и единомышленниками. “Кланяются Вам Клюев и Есенин, – пишет Иванов-Разумник Андрею Белому. – Оба в восторге, работают, пишут, выступают на митингах...” Иванов-Разумник ещё до революции затевает сборник “Скифы”, название которого отсылает к Герцену, проникнутый идеей “духовного максимализма, катастрофизма, динамизма”, и пишет к нему совместно с С. Мстиславским предисловие: “На наших глазах, порывом вольным, чудесным в своей простоте порывом, поднялась, встала, от края до края молчавшая, гнилым туманом застланная Земля. То, о чём ещё недавно мы могли мечтать лишь в мечтах молчаливых, затаённых мечтах думать – стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись на пролёт стрелы? На прямой удар. Наше время настало...” Дословное повторение клюевского “Наше времечко настало”. И какие бы сомнения ни терзали Есенина – основной посыл Разумника был ему близок, и не зря в следующем стихотворении

он отдаёт должное ему: “Звездой нам пел в тумане разумниковский лик” и “апостол нежный Клюев нас на руках носил”... Их “отческую щедрость” Есенин никогда не забывал – и в письме к Ширияевцу от 24 июня будет писать в унисон со словами Клюева и Разумника, неоднократно слышанными:

“Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но всё-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублёва Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трёх китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костёр Стеньки Разина.

Тут о “нравится” говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это “Ты”. Им всё нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут возьмёшь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить...

Но есть, брат, среди них один человек. Перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим, это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твёрдая, мыслью он прожжён, и вот у него-то я сам, Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется, с ними нужно не сблизаться, а обтёсывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, таков и Городецкий, и все и весь их легион...

Похожее по тону письмо Ширияевец получил весной от Клюева: “Умоляю не завидовать нашему положению в Петрограде. Кроме презрения или высокомерной милости мы ничего не видим от братьев образованных писателей и иже с ними...”

Каждый день этого года по событиям вмещал в себя как минимум несколько месяцев. Клюев готовит издание двухтомного “Песнослава” (один поначалу том разросся в два) и переживает, что скорый отход Есенина от него – лишь дело времени, что Есенин уже “разлюбил его сказ”, ибо, по его собственному признанию, стал “зрелей и весом тяжелей”... Есенин ещё не предчувствует жестокого конфликта, но уже недалеко время, когда он будет беседовать с Блоком, на которого ему сейчас “смотреть не хочется”, и высказывать всё, что надумалось по поводу Клюева, с которым пока ещё – душа в душу.

До великого и рокового Октября оставалось совсем немного.

(Продолжение следует)